

Кое-какие из этих обвинительных заключений мелькают и в биографии, но именно мелькают, в другом контексте и другой тональности, необыкновенно далекой от обличительной. Страхов резко обозначает в биографии: «Достоевский — субъективнейший из романистов, почти всегда создававший лица по образу и подобию своему».⁸³ А далее идут уточнения, смягчения, биографические приемы, если не скрывающие, то, несомненно, затемняющие истину, превращающие правду в полуправду. Страхов в биографии гибко использует одно антропологическое свойство, о котором счел необходимым прямо сказать: «Но каждый человек имеет, как известно, не только недостатки своих достоинств, но иногда и достоинства своих недостатков». И вот уже субъективность, оказывается, имеет огромные преимущества, равно как и гуманность, названная в письме «головной»: «Эта нежная и высокая гуманность может быть названа его музой, и она-то давала ему мерило добра и зла, с которым он спускался в самые страшные душевные бездны. Он крепко верил в себя и в человека, и вот почему был так искренен, так легко принимал даже свою субъективность за вполне объективный реализм».⁸⁴ Многие страницы воспоминаний Страхова звучат иначе после знакомства с его письмами Толстому, отбрасывающими на них густую и зловещую тень.

Хотя сравнительно легко можно определить, что вызывало неприятие в личности и творчестве Достоевского у Страхова, что разделяло их, по воспоминаниям, письмам, другим литературным документам (особенно значительна введенная в научный оборот Л. М. Розенблюм статья Страхова «Наблюдения»), все-таки остается необъяснимым (во всяком случае рационально) неожиданно возникший на самом последнем этапе работы над воспоминаниями этот всплеск ненависти, это низвержение в самое грязное болото «приятеля», которому только что была сочинена торжественная и прочувствованная осанна. Опровергать обвинения Страхова нет нужды — конкретные примеры или нелепы («глупенький случай с кельнером», по определению Анны Григорьевны), или являются низкой и злонамеренной сплетней, а обобщения опираются лишь на личный опыт общения с Достоевским, интерпретированный в самом мрачном свете — и Страхов не «истинного» Достоевского, а собственные душевные потемки проецирует на большой экран. Трудно определить, что послужило толчком и как протекал этот, видимо длительный, процесс отречения. Существует гипотеза, и она вполне закономерна, что поводом к столь резкой перемене настроения послужила одна пространная черновая запись Достоевского (приблизительно датируемая концом 1876—началом 1877 года) о Страхове — литераторе и человеке, с которой тот мог ознакомиться в период работы над воспоминаниями.

В черновых записях к выпуску «Дневника писателя» за июль-август 1876 года часто мелькает имя Страхова в связи с предпочтением, отданным им английской женщине перед русской в запомнившейся как Толстому, так и Достоевскому статье критика «Женский вопрос». Записи — черновой набросок к главке (нечто среднее между очерком и фельетоном) «Один из благодетельствованных современной женщиной», где человек «старого покроя» (двойник автора), коснувшись «щекотливой» женской темы, цитирует «брошюру» (говорится, что в ней «есть несколько прекраснейших и самых зрелых мыслей») Страхова, — одну фразу, совсем сбившую его «с толку»: «И однако же, всему свету известно, что такое англичанка. Это

⁸³ Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. С. 226.

⁸⁴ Там же. С. 226—227.